**Николай Тертышный**

**Что значит – жить? Никто не знает…**

**памяти поэта Евгения Лебкова**

Четырнадцатое января. Старый Новый год – чудное и в то же самое время странное сочетание понятий. Впрочем, на Руси всегда вдоволь странностей и странников.

…Тем утром едем впятером в Углекаменск. Мелькает за окнами авто январская картинка приличной студёной зимы. В долине лежит снег. По окоёму в болотцах треплет ветер метёлки высокого рыжего ковыля, вдали любо глазу серебрятся под солнцем белые зигзаги вершин. О чём-то говорим попусту. Кручу привычно баранку, а под сердцем боль, и в голове звень-звень мысль тяжкая, ещё до конца не осознанная: - «Старина Лебков скончался…, прощаться едем…».

«…Вон, над сопкой редколесной,

Засиял в цвету багул,

Словно это Царь Небесный

Дивной кисточкой мазнул.

Подходи. Смотри. Любуйся.

Цветоветочку сорви.

Прошепчи: «Прости, Иисусе…»,

И от счастья зареви…»

В его биографии так много того, что зовётся одним коротким – Русь. Смоленск, Брянск, орловщина, Рославль, Нечаево, Калуга, Рогнедино. Это его корни, его начало, пронесённое затем сквозь всю жизнь с достоинством, с гордостью должной, красивой, и вложенное в столь же гордое и восторженное его Слово, что как «и Солнце – из Божьего теста…».

Такое случается часто – человека почти не знаешь, если не считать давней встречи на поэтическом вечере, двух-трёх реплик, крепкого рукопожатия, но после знакомства с его творчеством приходит чувство какого-то внутреннего родства, и пронизывает трепетно суть твою, и ничего не поделаешь с этим ощущением, и всё лелеешь надежду на оказию, на случай новой более удачной встречи…. Но безжалостное время вмиг обрывает всё, и надежду, и возможности, воздействуя лишь с ещё большей силой, оставленным его чистым «самосудным» Словом.

«…Чужая долюшка – без краю,

Своя – лишь только от и до.

К чужой хвалёнке прилепляю,

Свою – не ставлю ни во что.

Чужое дерево – с листвою,

Своё – живёт и не живёт.

Чужой родник – с живой водою,

Свой – затхлой глиной отдаёт…»

Никогда не бывал там… в центре, как говорят, в России. И уж наверно не побываю. И сужу о ней часто, может быть, по наиву и неверно лишь по образам вот такого лебковского толка:

«…Повсюду – суета «вождей»,

Торги души и тела.

И я кричу душе своей:

«Ты этого ль хотела?»…

И тут же признание собственной причастности к тому, словно виновности своей: «Пока душа моя спала, случилось рядом столько зла…».

В своих чудо-рассказах он поднимается Словом от каких-то незамысловатых повествований с шуточками, с прибаутками к каким-то мистическим заговорам, почти к молитвам. И поэтическое восприятие жизни, лирический настрой и чутьё он сохраняет до самого конца. Одни лишь названия последних его книг говорят о многом: «А что мне делать в России», «Несуета», «Откровения отшельника». В них он, как всегда серьёзно и объёмно, не отрывая себя от действительности, ставит задачу жить:

«И всё же, братцы, исполать,

Тому, что Господом ниспослано.

Давайте будем ткать и ткать,

А не дремать над кроснами…»

Не из этой ли славянской оптимистичности черпает он подзабытые давно слова – орясина, рядёнце, и плодит свои «словотворения»: редкоход, цветоветочка, разноцвет-трава, лесоход, буйноцветение. А сколько новых «политических терминов»: телесмута, коммуносатаньё, волкомания, задироноситься, приогородиться, законоазбука, мракостылость, смиреновозрождение, жратвопьянка и т.п.

У него наверно можно было бы многому поучиться, но из всего мне бы хотелось постичь корни его простоты. Не той, что «хуже воровства», а той чистой наивной простоты и открытости, что по какому-то страшно непостижимому стечению обстоятельств разбавляется с возрастом необъяснимым, но неизбежным юродством, в лучшем понимании этого явления, дающим возможность сказать слово своё всем в глаза, не лицемеря и не стесняясь. И это его признание «…Я полюбил одиночество…» вырывается грустью, сожалением из простых незамысловатых строк предвидения скорого ухода:

«От суеты бесплодно-зряшной

Уходим скоро в никуда…

Сгорел закатом день вчерашний

И не вернётся никогда…»

На панихиду в ДК Углекаменска поспели только-только, неловко наскоро сложив к ногам покойного скромный цвет хризантем. Простились так же скупо, помолчав под тихую незамысловатую речь тех, кто был ближе поэту в его последнее время. И после того, как тело увезли отпевать в Партизанскую церковь, так же скоро заторопились домой. Я ругал себя за то, что не смог подмениться на работе и отпросился лишь на пару часов. Вот так всю жизнь: работа, спешка, долг, обязанность и опять работа…

«…Почему не дано лишь добро излучать,

Жить, и жизнью дышать словно воздухом…?»

«Что значит – жить?

Никто не знает…»

Обратной дорогой больше молчали. За дервней Казанкой на большом красивом мосту через реку Партизанскую я сбросил газ и чуть помедлил. И вверх, и вниз по реке во всю ширину, охватив розовыми разводами берега островов, на снежном фоне в лучах яркого солнца полыхали заросли чозении, блистала холодным серебром на незамёрзших перекатах вода, и тихая благодать разливалась вокруг по долине, порождая в душе веру в «закон всемирного родства». Но тут же «…расплёскивая вёдра смысла» подкатывала с болью под ложечкой потаённая тревога:

«Всё от природы, а точней от Бога…

И что там гул и гомон городов…?

И всё-таки какая-то тревога

В листве осин…»

Он много сил и труда отдал лесному хозяйству. Долго и плодотворно работал на Сахалине, где немало рукотворных сосновых лесов по праву названы лебковскими. В бытность лесничим ему не раз приходилось участвовать в различных встречах и совещаниях по обмену опытом, по обсуждению перспектив лесоводства, по проблемам, связанным с хищениями и бесхозяйственностью в лесной промышленности. Вот об одном из таких совещаний, где присутствовало много чиновного люда из прокуратуры, из следственных органов, он сам рассказывал на встречах с читателями.

На совещания Лебков являлся, как и положено при полном параде. В ладном форменном костюме лесничего, крепко сбитый, с благородной сединой в густой стриженой бороде, Евгений Дмитриевич выглядел строго и внушительно. Соседом в зале заседаний на сей раз ему случился откуда-то из Сибири прокурор. В перерыве разговорились о делах уголовных и наказуемых. Лебкову, как человеку заводному, поэтическому, всё интересно, потому и разговор вяжется.

- А что, дорогой мой товарищ, много работы у вас по ведомству…, - спрашивает Евгений Дмитриевич.

- И не говорите! Кажется, и пересадили немало, ан нет, работы ещё больше…

И прокурор долго делится с писателем своими заботами. Но, наконец, выговорился и спрашивает:

- Что это я всё о своём да о своём, а как у вас дела?

- У нас, мил человек, то ж самое. Сажу вот тоже потихоньку всю жизнь, а конца и краю не видать…

- Вот, вот и я говорю, если посчитать…, - вновь увлекается прокурор, но тут же, осёкшись, спрашивает: - И много посажено? Вы как, в уме считаете или пометочку где оставляете, так сказать, для совести…?

- А что мне их помечать, они у меня вот где, - Лебков легонько хлопает себя по шее. – Все восемнадцать тыщ…

- Сколько? – недоуменно восклицает прокурор.

- Восемнадцать тысяч стволов, один к одному…

- Каких стволов? Что вы меня путаете, товарищ?

- Сосновых, мил человек, каких же ещё…

- Так вы…, того, лесничий? – обрадовано догадывается прокурор. – А я-то принял вас за своего. Ну, лесник, уморил!

Жизнь у человека состоит из событий, случаев, происшествий, драм и фарса, из поступков и устремлений, словом из всего этого многообразия, как из отдельных узоров и чёрточек состоит ковёр или картина, как из историй и рассказов складывается книга. И так же, как картина или книга, жизнь может быть цельной, объёмной, насыщенной красками, умело собранной из рисунков и набросков в единое полотно или повествование. Отличие состоит лишь в том, что жизнь… всегда – недописанная книга, незавершённое полотно…